

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

Роман

*Памяти Валентины Ивановны
Беденко-Слепухиной – матери,
друга и незаменимого помощника*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Время не гасило воспоминаний. Оно уплотняло их, сжимая в цепочку образов, и каждый такой образ постепенно разрастался, вбирал в себя все сопутствующее, становился символом.

Так образом-символом Ленинграда стала картина белой ночи. Не какой-то одной, определенной, – ночей вообще, многих, слившихся в его памяти в одну: безлюдная набережная, широкие воды за низким гранитом парапета и мостовой пролет, исполинским крылом взнесенный в пустое, прозрачное, обесцвеченное близким рассветом небо.

В июне того года ему пришлось много работать – уже началась сессия, а еще нужно было дописать курсовую, оставались хвосты по зачетам, лабораторные отработки; он возвращался поздно и дома еще просиживал до часу, до двух. Дни так и мелькали, пронеслась неделя, другая, третья, и – жизнь со всего разгону вылетела в иное измерение. Двадцать третьего, вернувшись из военкомата, чтобы собрать вещи, он с недоумением окинул взглядом заваленный книгами стол – странно, еще сутки назад все это представлялось таким важным...

А что было затем? Запахи казармы, ритмичный топот сотен сапог на асфальтированном дворе, «на первый-второй ра-а-ас-считайсь!», соломенные чучела и деревянная винтовка с отточенным стальным прутком вместо штыка; потом затемненные перроны Витебского вокзала, лязг буфетов и тоскливые крики маневровых паровозов, синие фонари, неумолчный грохот колес под полом, зарева по ночам. Он завидовал ополченцам – их бросили под Лугу, а Юго-Западный фронт оказался так далеко от Ленинграда; под Белой Церковью были еще леса, роскошные лиственные дубравы, а потом степи, уже в начале августа, и именно эта украинская степь стала для него образом-символом войны – давящий зной, неубранная пшеница в выгоревших пепельно-черных проплешинах, свирепое солнце сквозь тучи пыли над бесконечными дорогами. Он долго не видел вблизи ни одного немца, только издали – сквозь прорезь прицела над подсыхающим на бруствере черноземом, – зеленоватые фигурки бежали рядом с танками, а танки казались неподвижными, серые угловатые формы медленно вырастали из дымной мглы, и эта кажущаяся медлительность их движения странно не согласовывалась с торопливым бегом взблескивающих на солнце гусениц...

Первого немца рядом с собой он увидел позже, уже в лагере. Увидел – и не удивился, приняв это за продолжение бреда. Сознание возвращалось медленно, он потерял много

крови, и смысл случившегося дошел до него не сразу, а как бы амортизированным. Другим амортизатором была на первое время твердая уверенность, что он все равно скоро умрет – и более крепкие гибли сотнями и тысячами; с его осколочным ранением в грудь шанс выжить в тех условиях практически равнялся нулю. Эта мысль примиряла с окружающим, была лишь горечь, мальчишеская обида на судьбу – все могло кончиться там же, в окопе, среди своих, стоило лишь проклятому осколку пройти чуть глубже, рванув своим бритвенно-зазубренным краем какую-нибудь аорту или что там еще находится в этом месте...

Но он выжил. Через полгода ему уже стыдно было вспомнить, что не так давно ждал смерти как избавления. Если и было что-то, чего он мог стыдиться, то это не сам факт плена – в этом не было его вины; вина была в том недолгом периоде малодушия, когда ему хотелось умереть, сдаться еще раз – теперь уже добровольно.

К счастью, это прошло скоро. Те, кого каждое утро выволакивали из барака и пленницей громоздили поодаль, в снегу, – они были уже бессильны, им было уже не рассчитаться во веки веков. Счет вели живые. И этот страшный счет рос с каждым днем, с каждой поверкой на «аппель-плаце», где вьюга шатала шеренги живых скелетов в обрывках летнего обмундирования. Наверное, они только потому и оставались живыми, что кому-то ведь нужно было видеть, запоминать; кто-то должен был рано или поздно рассчитаться – сполна и за все...

И он тоже смотрел, запоминал, ждал своего часа. Шли месяцы, закончился сорок второй год, после силезских копей было какое-то подземное строительство в Мекленбурге, удушливый от постоянной утечки газов цех гигантского химического комбината «Буна», бараки, бараки, нескончаемые километры колючей проволоки, пулеметные вышки, лай овчарок... Вести о ходе войны доходили с опозданием, но все же доходили; пленные знали о Севастополе, о Сталинграде, о Курске. После Курска немцы особенно свирепствовали – вероятно, это была их последняя ставка, она оказалась битой.

Двумя месяцами позже он на очередной селекции попал в новую «арбайтскоманду», которую той же ночью загнали в эшелон. Ехали долго, – судя по солнцу, а также по названиям некоторых станций, которые иногда удавалось разглядеть через щель в стенке вагона, их везли дальше на запад. Эшелон подолгу простаивал на запасных путях, выли сирены, остервенело били зенитки, и, сотрясая землю, слитными волнами раскатывался обвальный грохот фугасок; по ночам щели светились красным – будто горела вся Германия, окровавив небо Европы исполинскими заревами своих пожаров.

На шестой день пути эшелон пересек какую-то большую реку, вероятно это был Рейн. А потом опять пошли угрюмые шахтерские края – дождливая равнина, терриконы под серым небом, медленно вращающиеся на вышках колеса подъемников. Названия станций были уже не немецкими, пленных привезли то ли в Бельгию, то ли в Северную Францию. Но кончились и терриконы, вокруг стало позеленее. На глухом полустанке, когда наконец стали выгонять из вагонов, кто-то успел перекинуться словом с оказавшимся рядом железнодорожником из местных – тот сказал: «Франс, Норманди...»

Нормандия, ставшая для него землей свободы и мщения! Это случилось в ноябре – из лагеря их на грузовиках возили ремонтировать железнодорожное полотно, засыпать воронки, менять порванные бомбами рельсы; в один из вечеров, на обратном пути в лагерь, колонну обстреляли с двух сторон, из-за зеленых изгородей. Все произошло так быстро, что охрана даже не успела открыть ответный огонь. Он стоял в кузове у заднего борта, рядом с солдатом; все попадали друг на друга, когда машину занесло и развернуло поперек дороги от резкого торможения, и он так и не узнал, сам ли задушил этого немца, или его добила другие, но автомат оказался у него в руках – он прыгнул с высокого борта и, в упор полоснув очередью по кабине заднего «бюссинга», бросился напролом через колючий, мокрый от дождя кустарник...

Дино Фалаччи оборвал художественный свист, которым безуспешно пытался привлечь внимание сеньориты, скучавшей за соседним столиком, и вопросительно глянул на Полунина.

– Чего это ты вздыхаешь?

– Не всем же быть свистунами...

– Ты прав, для этого нужно призвание. Но все-таки – что случилось?

– Да ничего не случилось, – Полунин пожал плечами и допил пиво. – Просто предчувствия одолевают. Знаешь, какой я сегодня сон видел? Будто вы с Филиппом набили мне морду и возвращаетесь в Европу.

– Э, ерунда, – подумав, сказал Дино. – Бабка моя уверяла, что сны нужно понимать наоборот, а уж она-то в этих делах разбиралась. Она была ведьма, Микеле, я тебе не рассказывал? Ведьма, клянусь спасением души. И какая! Впрочем, в Лигурии что ни женщина, то ведьма. – Синьор Фалаччи поплевал через плечо и потыкал вокруг себя рогами из пальцев, отгоняя нечистую силу. – Инквизиции в наших краях не было, соображаешь? Попробуй сегодня найти ведьму в той же Испании...

– Не было разве? – рассеянно спросил Полунин.

– Ну, была формально, но рвения особого не проявляла. А за что мы тебе били морду?

– Да все за то же, – сказал Полунин. – За всю эту затею.

– Брось, опять ты принимаешься каркать. Лично я убежден, что мы разыщем сукиного сына. Главное было установить, что он здесь, согласен? Прекрасно! Это установлено. Разумеется, снимок в газете мог ввести в заблуждение, поди там разгляди, кто есть кто, но когда тебе удалось раздобыть негатив – сомнений больше не осталось, верно?

– Не ори. Ты когда-нибудь научишься держать язык за зубами?

– Э, да кто здесь понимает по-французски, – возразил Дино, но голос понизил почти до шепота. – Так вот, я хочу сказать – этот тип здесь, и вряд ли он будет так уж рваться обратно в Европу...

Полунин усмехнулся.

– А ты представляешь себе размеры этого «здесь»? Южная Америка, старина, это семнадцать миллионов квадратных километров. И сто с чем-то миллионов населения.

– Найдем, – уверенно сказал Дино.

– Ну да, ты же у нас всегда ходил в оптимистах...

Ветер гнал по тротуару листья платанов, они сухо шуршали под ногами, стайками взвихривались за пролетающими машинами. Намело и сюда, на открытую террасу кафе. Осень, подумал Полунин, настоящая уже осень, как у нас в начале сентября. А ведь по календарю – апрель. Странно, но к этой путанице времен года привыкнуть труднее всего. Постепенно привыкаешь к чужим звездам, к чужим городам, к чужой речи вокруг, – а вот к жаре на Новый год привыкнуть трудно. Или к тому, что листья облетают в апреле.

Щурясь, он посмотрел вдоль залитой ослепительным осенним солнцем авениды и надел защитные очки, словно отгораживаясь от опостылевшей экзотики. Настроение сегодня поганое, и неизвестно даже почему. Так, по совокупности. Воспоминания следует держать под замком, сколько раз себе говорил. А тут еще утром – не успел выйти из отеля – встретила женщина, издали похожая на Дуняшу. Волосы, походка – Полунин решил даже, вопреки здравому смыслу, что Евдокия вдруг действительно взяла и прикатила. Глупости, конечно, что ей делать в Монтевидео? А уверенности в обратном все равно не было, пока он не оказался ближе и не убедился в ошибке; за эти несколько секунд чего только не передумалось! Нелепо ведь все до предела – глупо, неустроенно, и с этим призрачным «треугольником» тоже одна нервоотрепка. Особенно для нее, можно себе представить.

Поди вообще разберись, действительно ли это треугольник. А если прямая между двумя точками? Дуняша однажды сказала: «Знаешь, у католиков есть учение о мистическом браке – ну, они имеют в виду церковь и Христа, – так вот, конечно *c'est un sacrilege**, я